

ISSN 0131-6095

Русская литература

1

2007

Санкт-Петербург
«НАУКА»



КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Русская литература

№ 1

Историко-литературный журнал

2007

Издается с января 1958 года

Выходит 4 раза в год

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Е. Г. Водлазкин. Новое о палеях (некоторые итоги и перспективы изучения палейных текстов)	3
С. И. Монахов. Жанрово-стилевые модели в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»	24
Н. Н. Пайков. «Человек жизненной рутины» в поэзии Н. А. Некрасова. Статья вторая. Поэтика и творческая рефлексия. Аспекты духовного мировидения	47
А. М. Подоксенов, Г. В. Плеханов в мировоззрении и творчестве М. М. Пришвина	73
Е. В. Хворостьянова. Лирика Андрея Битова: поэтика автоперевода	87

К 110-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Р. О. ЯКОВСОНА

О. М. Малевич. Роман Якобсон по-чешски	104
Р. Якобсон. Что такое поэзия?	117
Р. Якобсон. Чешский предок Пушкина	128

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

С. А. Шульц. Топика памятника в творчестве Гоголя и пушкинская традиция	130
Л. И. Черемисинова. Рассказ Фета «Каленик»: поэтика автобиографического повествования и литературный контекст	141
Н. А. Тарасова. Значение заглавной буквы в наборной рукописи рассказа «Сон смешного человека» («Дневник писателя» Ф. М. Достоевского за 1877 год)	153
Б. Ф. Егоров. Ю. Н. Говоруха-Отрок и В. М. Гаршин	165
Неопубликованные переводы Николая Гумилева: отрывки из «Дон Жуана» Байрона (публикация К. С. Корконосенко)	173

А. Г. Тимофеев. «...У дорогих моему сердцу немцев...». Материалы к библиографии прижизненных немецких изданий М. Кузмина	183
Г. А. Тиме. Федор Степун о России и Германии: взгляд «русского немца» и миссионера	203
Письма Глеба Струве Владимиру и Вере Набоковым 1942—1985 годов (вступительная статья, подготовка текста, комментарии и перевод М. Э. Маликовой)	215
Глеб Струве. Владимир Набоков каким я его знал и каким вижу теперь (подготовка текста, комментарии и перевод М. Э. Маликовой)	236
Н. М. Любимов. О переводах К. Бальмонта (вступительная заметка, публикация и комментарии А. С. Ивановой)	257

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Илья Серман (<i>Израиль</i>). Руссо в России	262
Р. Ю. Данилевский. Из забытого: первая швейцарская книга о русской литературе	263
Хо Хё Ён (<i>Республика Корея</i>). Ранние пьесы Евгения Шварца. Обзор исследований	271

ХРОНИКА

Д. М. Ильина. Конференция «Словесность и медиа: фольклор—литература—средства коммуникации»	280
Д. Б. Фальчук. XIII Алексеевские чтения	285
Б. В. Мельгунов. XXXIII Всероссийская Некрасовская конференция	286
И. А. Лобакова. Научное заседание, посвященное Льву Александровичу и Руфине Петровне Дмитриевым	292
Памяти Бориса Владимировича Мельгунова	294

Журнал издается под руководством Отделения
историко-филологических наук РАН

Главный редактор *Н. Н. СКАТОВ*

Редакционная коллегия:

Е. В. АНИСИМОВ, Д. М. БУЛАНИН, Г. Я. ГАЛАГАН (зам. главного редактора),
А. А. ГОРЕЛОВ, В. Я. ГРЕЧНЕВ, И. Ф. ДАНИЛОВА (отв. секретарь редакции),
Н. Н. КАЗАНСКИЙ, В. А. КОТЕЛЬНИКОВ, Н. Д. КОЧЕТКОВА, А. В. ЛАВРОВ,
Ю. М. ПРОЗОРОВ, С. А. ФОМИЧЕВ, Т. С. ЦАРЬКОВА

Адрес редакции: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4.
Телефон/факс (812) 328-16-01
e-mail: rusliter@mail.ru

Г. В. ПЛЕХАНОВ В МИРОВОЗЗРЕНИИ И ТВОРЧЕСТВЕ М. М. ПРИШВИНА

Европейская и отечественная революционно-социалистическая идеология оказала на М. М. Пришвина весьма значительное влияние, поэтому сам писатель вполне обоснованно называл свое образование марксистским,¹ особо подчеркивая, что марксизм, из-за которого он попал в 1897 году в тюрьму, действительно стал «одним из определяющих моментов жизни».²

В настоящей статье предпринимается попытка осветить влияние на мировоззрение и творчество Пришвина некоторых социальных и эстетических идей Плеханова, сопоставляя при этом события жизни писателя с их литературной версией, а изложенные в дневниковых записях мировоззренческие оценки с их подцензурной художественной интерпретацией.

С существованием социал-демократического «подполья» и революционной нелегальной литературы будущий писатель знакомится еще гимназистом в середине 1880-х годов благодаря своему старшему товарищу по Елецкой гимназии Н. А. Семашко, племяннику Плеханова. В автобиографии 1922 года Пришвин отмечал, что само увлечение марксизмом пришло через Плеханова, когда «учился в Риге в Политехникуме химиком четыре года, и тут я уверовал через книгу Бельтова (Плеханов) в марксизм. (...) Я был рядовым, верующим марксистом-максималистом (как почти большевик)...» (Кн. 3. С. 275). Правда, в автобиографическом романе «Кащеева цепь» (1922—1954) автор переносит свое знакомство с идеями Маркса на несколько лет раньше, когда Алпатов — alter ego писателя. — получив в Сибири гимназический аттестат зрелости, летом 1893 года возвращается домой к матери в Хрущевское имение под Ельцом. Юность закончилась, и наступило время выбора направления пути взрослой жизни. Алпатов остро ощущал необходимость мировоззренческой опоры, нужно было «найти такое знание, чтобы открывалось все — и человек, и природа; наука была бы такая же увлекательная, как искусство, и то же искусство не расплывалось бы в одно удовольствие, а служило бы, как у Шиллера, высоким целям»,³ т. е., как отмечал Ф. Шиллер, когда «удовольствие сочетается с поучением, спокойствие с возбуждением, забава с образованием...»⁴

За время пребывания Михаила Алпатова в Сибири все его елецкие друзья уже определились: кто учился в университете, кто, не окончив гимна-

¹ См.: *Пришвина В. Д.* Путь к слову. М., 1984. С. 92.

² *Пришвин М. М.* Дневники. 1918—1919. Книга 2. М., 1994. С. 366. Далее ссылки на дневники даются в тексте с указанием номера книги дневников и страницы: Дневники. 1914—1917. Книга 1. М., 1991; Дневники. 1918—1919. Книга 2. М., 1994; Дневники. 1920—1922. Книга 3. М., 1995; Дневники. 1923—1925. Книга 4. М., 1999; Дневники. 1926—1927. Книга 5. М., 2003; Дневники 1928—1929. Книга 6. М., 2004.

³ *Пришвин М. М.* Кащеева цепь // Собр. соч.: В 8 т. М., 1982. Т. 2. С. 165. Далее ссылки на это произведение даются в тексте сокращенно: название, страница.

⁴ *Шиллер Ф.* Театр, рассматриваемый как нравственное учреждение // Шиллер Ф. Соч.: В 7 т. М., 1957. Т. 6. С. 24.

зии, служил чиновником на почте, кто у нотариуса. Но главной новостью оказалось, что Ефим Несговоров (прототип Н. А. Семашко — будущего наркома медицины в Советском правительстве), у которого Алпатов в гимназии «выучился петь „Марсельезу”, с кем он еще в четвертом классе додумался бога отвергнуть, кто дал ему Бокля прочесть и поверить в закон развития жизни», стал студентом-медиком и за участие в революционной деятельности выслан в Елец под надзор полиции (Кащеева цепь. С. 183). Встреча со старым другом сразу же, как и в гимназическом детстве, приобщила Михаила к политике: от Ефима он слышит имена совершенно неизвестных ему немецких социал-демократов Бебеля и Либкнехта, узнает, что Плеханов, о котором он «не раз слышал от Дунечки (двоюродная сестра М. М. Пришвина. — А. П.) и понимал его как священное народническое имя, вроде Глеба Успенского», пишет под псевдонимом «Бельтов» и давно уже не народник, а марксист. В смущении он признается: «Я не знаю, что такое марксист (...) я ничего не слыхал о Марксе» — и просит друга научить его всему, как в старые гимназические времена (Кащеева цепь. С. 185). Получив от Ефима популяризирующую марксизм книгу Бельтова-Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», Михаил тотчас же направляется к городскому саду и находит ту самую лавочку, на которой сговаривался с гимназистами бежать в Азию открывать забытые страны. По своему особому методу чтения, разумом «перехватывая мысль, как мелькающую в лесных просветах птицу» и скидывая балласт всего неясного и тяжелого, он быстро уясняет первостепенное в плехановской книге, о чем и спрашивает Ефима: зачем же марксизм берет основой «экономический базис, почему не просто жизнь?» (Кащеева цепь. С. 186).

Разумеется, ни Алпатов, ни молодой революционер Несговоров тогда еще не могли разобраться в этой основополагающей силе и слабости марксизма, сводящего все духовные факторы (религиозные, культурные, национальные) исключительно к производственным отношениям как всеопределяющему экономическому базису общественной жизни.⁵ Поэтому вместо разговора о сложнейшем природно-социальном явлении, каким является жизнь общества, Несговоров, пытаясь «защитить марксизм», навешивает на друга ярлык идеалиста: «Ну вот ты и пошел в метафизику. Ты, Миша, природный шалун, не обижайся, я говорю это в высшем смысле: метафизик, поэт, художник... есть у тебя что-то в этом роде» (Кащеева цепь. С. 186). Затем Несговоров, демонстрируя свои плехановско-марксистские взгляды, обличает идеологическую ущербность интеллигенции как прослойки, всегда примыкающей к тому классу, который служит ее интересам, вменяет в вину Алпатову само его желание стать инженером: ты будешь обречен служить буржуазии, так как вся политическая надстройка, а значит, и «инженерные науки целиком находятся в руках господствующих классов, и ты будешь делать именно то, что тебе велит капиталисты (...) будешь ты инженером-химиком, посадят тебя на пороховой завод и заставят готовить порох для защиты буржуазии» (Кащеева цепь. С. 186—187).

Алпатов и сам задолго до знакомства с трудами Плеханова чувствовал слабость народнических идеалов служения крестьянину-мужику, наглядным примером чего была его двоюродная сестра, учительница-народоволка, всю жизнь посвятившая делу борьбы с царизмом путем просвещения народа. Но итогом учительского подвижничества Дунечки, о которой в деревне все говорили, что «это Ангела нам Господь послал», и называли ее «равно-

⁵ Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М., 1959. Т. 13. С. 7.

апостольная» (Кн. 2. С. 78), оказалось лишь то, что «ее лучшие ученики идут в дьяконы и в полицейские» (Кащеева цепь. С. 182). Михаилу же хочется найти такую мировоззренческую теорию, которая научно раскроет законы жизни общества, чтобы не по-народнически слепо интеллигенция служила людям, но, познав «историческую необходимость», инженер смог бы осознанно трудиться на пользу передовому рабочему классу. Однако Несговоров в духе плехановского понимания марксизма как возможности победы социализма только сразу в нескольких экономически развитых европейских странах тут же остудил алпатовский энтузиазм: «Мы не доживем с тобой до того, чтобы служить рабочему классу специалистами», наша задача — готовить революцию, устраивать школы пролетарских вождей, которые будут просвещать народ и поднимут его на восстание, «мы призваны облегчить роды — мы акушеры» (Кащеева цепь. С. 187). В этом выразилась мечта многих русских мальчиков, желавших воплотить в жизнь марксистские идеи Плеханова о соотношении роли масс и личности в истории, который учил, что социалистическое будущее приблизится, когда «сама „толпа“ станет героем исторического действия и когда в ней, в этой серой „толпе“, разовьется соответствующее этому самосознание».⁶

Елецкие революционеры, сообщает Алпатову Несговоров, с помощью плехановских работ активно пропагандируют марксизм среди служащих по найму, разночинцев, агрономов, учительниц — всего «третьего элемента», т. е. интеллигенции, традиционно поддерживающей идеи народничества. По словам Несговорова, идеям марксизма сочувствуют и некоторые из дворян-помещиков, подчас уже искренне «готовые на всякую революцию в разговорах», и даже «есть у нас член управы из купцов, лесопромышленник, оголяет уезд до конца, а нам сочувствует, деньги дает и называет нас *передовой авангард*» (Кащеева цепь. С. 189).

С юношеским энтузиазмом приобщаясь к пролетарскому движению, Михаил Алпатов не хотел ограничиться лишь изучением теории социализма, его художественной натуре требовалось дело, конкретная работа, «практический корректив» науки, а не просто познание в смысле «Что делать?» Чернышевского. Тем более что совсем не понятно было ему, чему же так обрадовался Ефим, узнав из газеты, что германские социал-демократы голосуют против расходов на флот и на армию, необходимых для защиты государства: «...если к слабым немцам без войска и флота явятся их злейшие враги французы и уничтожат Германию совсем — и с Бебелем, и с Либкнехтом, и социал-демократией? И если перевести то же на Россию, если опять к нам придет какой-нибудь новый Наполеон и у нас не будет оружия?» (Кащеева цепь. С. 189). И конечно, не случайно эта мысль остается в «Кащеевой цепи» мимолетной, не получив дальнейшего развития. Если учесть политический контекст русской истории дооктябрьского периода, то станет ясно, что здесь Пришвин, как и Плеханов, поддерживая патриотический настрой царского и затем Временного правительства на «войну до победного конца», устами Алпатова открыто выступает против курса партии большевиков на превращение империалистической войны в гражданскую и поражение своего правительства в Первой мировой войне, еще в 1915 году теоретически обоснованного Лениным. Так для Алпатова-Пришвина открывается, что в русской версии марксизма имеются по крайней мере две разные интерпретации: плехановская социал-демократическая и ленинско-большевистская, которая вызывает у него критическое отношение.

⁶ Плеханов Г. В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю // Плеханов Г. В. Избр. философские произв.: В 5 т. М., 1956. Т. 1. С. 693.

Вместе с тем и плехановское понимание марксизма порождает сомнения у Алпатова, что наглядно подтверждается его отношением к народнической позиции студента Жукова, еще одного бывшего одноклассника-гимназиста, высланного из Москвы в ссылку в Елец под надзор полиции. «Злая книга, — говорит Жуков Алпатову о плехановском сочинении «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», — и ужасна своими заблуждениями в оценке личного». Жукову не нравится, что в плехановском марксизме нет «родственного внимания» ни к миру природы, ни к творческой личности: «Бельтов эту личность стирает, как пыльцу с бабочкина крыла, и устанавливает какой-то безличный, бескрылый закон» (Кащеева цепь. С. 192). И Михаил уже был готов поддержать так близкие ему слова о родственном внимании, как вдруг вспомнилась гимназия, учебник по русской истории Иловайского,⁷ учившего об истории как битве добрых и злых индивидуальностей, и тут какая-то старинная обида, боль и злость заставили его вступить в борьбу. В истории должен быть закон, а не борьба духов, поэтому теория субъективистов несостоятельна, заявляет он Жукову и его сторонникам. Не имея даже понятия о социологической формуле Михайловского,⁸ на которого ссылались защитники народничества, Алпатов наудачу, как пламенный прозелит, бьет доводы своих противников усвоенными из Плеханова формулами марксизма о главенстве в истории силы экономической необходимости, кстати ввернув и слова Несговорова об акушерах-революционерах, которые не сидят сложа руки, а облегают роды нового общества. Казалось, какой-то новый человек в Михаиле легко побеждал в этом споре, беря марксистские аргументы как будто совсем из ничего. Стоило всего-навсего презрительно сказать в споре какое-нибудь слово вроде «метафизика», и соперник терялся, не зная, что ответить. «Если у меня взялось из ничего, то, наверно, то же и у них, я не знаю формулы Михайловского, а они, наверно, не понимают Бельтова. Куда им!», — даже обрадовался Алпатов (Кащеева цепь. С. 194).

Истинную цену подобным схоластическим методам спора, позволяющим марксистам-революционерам «бить словами» и опровергать оппонентов взятыми «из ничего» научнообразными формулами, Пришвин осмыслит много позже и неоднократно будет говорить о большевистской софистике и догматизме в своей публицистике и дневниках.

Если поэтически воспринятый марксизм значительно расширял мировоззренческий кругозор будущего писателя, то пропагандистская деятельность достаточно скоро привела его к типичному для многих революционеров того времени итогу: пойманный в Риге с поличным при переноске нелегальной литературы, Пришвин попал в 1897 году в камеру одиночного заключения Митавской образцовой тюрьмы. Кстати, отчасти тюрьма пошла юноше на пользу, излечив его от воинствующей политической деятельности, и в одной из дневниковых записей 1947 года Пришвин обронил, что царская тюрьма спасла его от тюрьмы пролетарской, «благодаря той тюрьме я не попал в нее в советское время».⁹

⁷ В официальном учебнике по русской истории для средних учебных заведений Д. И. Иловайского (1832—1920), выдержавшем с 1860-го по 1912 год тридцать шесть изданий, излагался взгляд на историю как борьбу добрых и злых индивидов.

⁸ Субъективная социология Н. К. Михайловского (1842—1904), одного из теоретиков народничества, для устранения произвола мнений предлагала за критерий истины принимать познавательные способности «нормального» человека — нормального не только физиологически, но поставленного в благоприятные социальные условия и отражающего интересы большинства трудящейся части общества. См.: Философский энцикл. словарь. М., 1989. С. 371.

⁹ Пришвин М. Леса к «Осударевой дороге». 1931—1952. Из дневников // Наше наследие. 1990. № 2. С. 75.

После освобождения Пришвину было запрещено в течение трех лет жить в университетских городах. Поэтому он, вернувшись в 1898 году в Елец, за два года выхлопотал разрешение выехать за границу для получения высшего образования. Вполне закономерно, что для этого была выбрана Германия, славившаяся своей философской наукой. Там и происходит знакомство с обществом реальной, а не теоретической социал-демократии. В результате «марксизм» Пришвина «постепенно тает... я учусь на агронома и хочу быть просто полезным для родины человеком» (Кн. 2. С. 366). 1902 год ознаменовал не только окончание учебы в Германии, но и стал годом мировоззренческого переворота, который Пришвин определил формулой «от теории к жизни», что означало осознание им марксизма как доктрины, ограничивающей и подменяющей жизнь.

Однако мировоззренчески навсегда отойдя в начале XX века от идей Маркса и его апологетов, Пришвин после революции вновь столкнется с марксизмом, в частности с Плехановым, уже на эстетической почве. Ведь с именем Плеханова было связано не только распространение и популяризация марксизма в России, но и применение его к анализу проблем искусства, разработка теоретических основ идеологизации эстетики. По Плеханову, лишь марксистская идеология и пролетарская революция откроют путь к творческой гармонии художника с обществом, позволяя сказать всю правду о мире. «Чтобы понять, *каким образом искусство отражает жизнь*, надо понять механизм этой последней, — пишет Плеханов, — (...) борьба классов составляет в этом механизме одну из самых важных пружин. И только рассмотрев эту пружину, только приняв во внимание борьбу классов и изучив ее многообразные перипетии, мы будем в состоянии сколько-нибудь удовлетворительно объяснить себе „духовную” историю цивилизованного общества: „ход его идей” отражает собой историю его классов и их борьбы друг с другом».¹⁰

Исходным пунктом эстетики Плеханова является мысль о том, что искусство призвано выражать общественную психологию, которая определяется социально-классовыми отношениями, полностью зависящими от уровня развития производительных сил общества. Используя тезис Маркса из «Нищеты философии» о всеобщей продажности буржуазного общества, Плеханов заключает: «Можно ли удивляться тому, что во время всеобщей продажности искусство тоже делается продажным? (...) *Искусство времен упадка „должно”* быть упадочным (декадентским). Это неизбежно».¹¹ Особое внимание при этом обращается на вопросы методологии исследования искусства, состоящей из двух стадий: первая — определение «социологического эквивалента» и вторая — проведение эстетического анализа.

Развивая мысль Белинского о переложении критиком идеи произведения с языка искусства на язык философии, Плеханов ставит перед критикой задачу перевода идеи данного художественного произведения «с языка искусства на язык социологии», чтобы найти «социологический эквивалент данного литературного явления».¹² После отыскания социально-психологической, классовой основы произведения следует второй акт критики — оценка эстетических достоинств произведения, которые «всегда находятся в

¹⁰ Плеханов Г. В. Французская драматическая литература и французская живопись XVIII века с точки зрения социологии // Плеханов Г. В. Эстетика и социология искусства: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 287.

¹¹ Плеханов Г. В. Искусство и общественная жизнь // Плеханов Г. В. Эстетика и социология искусства: В 2 т. Т. 1. С. 375.

¹² Плеханов Г. В. Предисловие к третьему изданию сборника «За двадцать лет» // Плеханов Г. В. Искусство и литература. М., 1948. С. 208.

самой тесной причинной связи с тем общественным настроением, которое в нем выражается», а общественное настроение всякой данной эпохи, в свою очередь, «всегда обуславливается свойственными ей общественными отношениями», зависящими от исторических форм классовой борьбы.¹³

Эта мировоззренческая и эстетическая позиция Плеханова была совершенно неприемлема для Пришвина: «Нельзя жить по этим жестоким и бессмысленным принципам коммунизма (...) Классовый подход к живой личности — самая ужасная пытка для людей и губительство всякого творчества: это все равно, что стрелять в Пушкина или Лермонтова» (Кн. 6. С. 415). Как художник слова Пришвин особенно чутко воспринял лексико-синтаксический аспект классового подхода к искусству, выразившийся в резко ускорившемся после революции процессе идеологизации языка. Осознавая эту опасность, он 26 ноября 1917 года выступает в петроградской газете «Воля вольная» со статьей «В защиту слова», в которой обнажает страшную разрушительную силу изменения понятийного смысла слов: «Превосходное по силе, магическое слово создала революция (...) знаменитое наше:

— Буржуй!

Ни один фугас, никакая двенадцатидюймовая пушка не могли бы произвести такого опустошения, как это ужасное слово, которое заставило в России замолчать почти всех людей с организованными способностями и многим стоило жизни».¹⁴

Подчеркивая духовную опасность классового фразеологизма, писатель вспоминает, как он с братом, будучи детьми, решили убить и зажарить на вертеле поповского гуся: «Мы сочинили себе и нравственное оправдание так же, как нынче при убийстве людей: не людей убивают, а „буржуазов“. Так и мы решили, что нашего гуся не зарежем, а поповского. Почему-то вышло, что гусь поповский — почти что не гусь, как „буржуаз“ — не человек, и с ним можно делать все что вздумается» (Цвет и крест. С. 185).

Плехановский классовый подход к искусству, а если шире, то ко всей сфере духовной жизни общества порождал типично софистическое манипулирование — в интересах идеологии власти — логической, грамматической и смысловой структурой понятий. Если в эпоху царизма грибоедовский герой «Горя от ума» восклицал: «Ах! злые языки страшнее пистолета», имея в виду нравственный ущерб от сплетни, то в революционное время слова подчас нейтрального значения стали обретать уже не этический, а смертельный смысл. «„Не в словах дело“ — принято выражаться, а как же не в словах, вот этот „буржуй“ — сколько в этом слове дела! Когда говорят „не в словах“ — думают, не в оболочках слов дело, оболочка слова „буржуй“ самая невинная, это значит буржуа, житель города, оболочка французская, содержание нижегородское и вместе сила разрушения великая» (Цвет и крест. С. 125), — подчеркивает Пришвин опасность насаждаемой большевиками и неправомерно широко используемой писателями и общественностью классовой терминологии в языке. Вследствие подмены понятийного смысла объем содержания «священно-революционных» слов становится убийственно и безумно широк. «Многоголовой гидрой оказывается эта буржуазия, — отмечает этот софистический парадокс Пришвин, — от крупного помещика до соседа-крестьянина, имеющего на одну лошадь и на одну корову больше, чем я» (Цвет и крест. С. 100). Ведь за идеологической переделкой слова неизбежно следовала не только мировоззренческая, но и нравственная транс-

¹³ Там же. С. 212.

¹⁴ Пришвин М. М. Цвет и крест. СПб., 2004. С. 125. Далее ссылки на это произведение даются в тексте сокращенно: название, страница.

формация общественного сознания, за семантическим сдвигом содержания слов происходила онтологическая смена смысла понятий правды и лжи, добра и зла. Поэтому в опубликованной 4 мая 1918 года газетой «Жизнь» статье «В телячьем вагоне» писатель пытается обратить внимание всей России на опасность внедрения логики классовой борьбы в смысл слова, приводя как пример классового понимания «гуманизма» мечту своего попутчика, юноши большевика: «Если бы я мог собрать всю буржуазию, всех попов в одно место, в один костер, и мне бы досталось счастье поджечь его, — я бы поджег, я был бы счастлив» (Цвет и крест. С. 193).

Так, с точки зрения Пришвина, марксистская теория классовой борьбы, догматически применяемая Плехановым к духовной жизни общества, ведет к порче, к болезни слова, которое, софистически наделяясь неправомерным идейным содержанием, то становится оправданием политических репрессий, то порождает у людей психологию ненависти. «За самого злейшего буржуя считает наш мещанин крестьянина, а тот мещанина — за жулика. И вот, поди разбери теперь, в скорое революционное время, кто из них буржуй и кто пролетарий?» (Цвет и крест. С. 200). Рассматривая концепцию этой «командной» роли слова французского психолога Пьера Жана, Л. Выготский отмечал, что слово — средство овладения не только природным, но и духовным миром человека: «Жане говорит, что за властью слова над психическими функциями стоит реальная власть начальника. (...) Регулирование посредством слова чуждого поведения постепенно приводит к выработке вербализованного поведения самой личности».¹⁵

Гипертрофирование классового подхода при анализе любых явлений жизни было парадигмой марксистского мышления, что предопределило отношение к культуре не только Плеханова, но и В. И. Ленина, который 8 октября 1920 года со всей откровенностью заявил: «В Советской рабоче-крестьянской республике вся постановка дела просвещения, как в политико-просветительной области вообще, так и специально в области искусства, должна быть проникнута духом классовой борьбы пролетариата...»¹⁶

После захвата большевиками государственной власти в 1917 году, когда со всей очевидностью обнаружится вся разрушительная сила идеологии классовой борьбы в экономически отсталой стране, к Пришвину, как и к Плеханову, приходит понимание отсутствия в ленинско-большевистской версии марксизма позитивных, мироустроительных начал. В первые же послереволюционные годы из России уезжает или изгоняется целая плеяда лучших деятелей русской культуры. Наступает эпоха тотальной идеологизации жизни. «Все наркомы занимаются литературой», начинается «время садического совокупления власти с литературой», пишет Пришвин в августе 1922 года (Кн. 3. С. 260). Именно в этот переломный для общества период писатель создает повесть «Мирская чаша», называя ее своей «коренной вещью», воплощением главного дела, которому он посвятил жизнь, — практического влияния творчества на общество. «Вот адский вопрос литературы: художественное слово есть только последнее, самое вкусное блюдо обеденного стола мирной жизни или оно и в голодное время может быть так же убедительно, как пуды черного хлеба? (...) придется написать книгу в форме дневника, где различные худ. произведения мои будут вкраплены в страницы моей жизни» (Кн. 3. С. 208, 209). Эта дневниковая запись осени 1921 года и была творческим замыслом повести, решением высказать о ре-

¹⁵ Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М., 1960. С. 192.

¹⁶ Ленин В. И. О пролетарской культуре // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. М., 1963. Т. 41. С. 336.

волюционной катастрофе всю правду, найдя для этого «слова сильные, как хлеб».

Сам путь к публикации одного из самых совершенных пришвинских творений¹⁷ стал еще одним свидетельством поистине трагического характера той эпохи, поскольку писатель не просто свидетельствовал о своем времени, но рассуждал, оценивал и спорил, идейно и художественно обличая самые устои нового политического режима. «Мирская чаша» оказалась настолько смелой для того времени, что редактор журнала «Красная новь» А. Воронский категорически отказался ее печатать, откровенно сказав автору о невозможности провести такое сочинение через цензуру. Тогда писатель дерзко и решительно посылает повесть на рецензию к Л. Троцкому, выражая в письме надежду, что «советская власть должна иметь мужество дать существование целомудренно-эстетической повести, хотя бы она и колола глаза» (Кн. 3. С. 260—261). Однако вскоре последовавший ответ оказался похож на приговор: «Признаю за вещь крупные художественные достоинства, но с политической точки зрения она сплошь контрреволюционна» (Кн. 3. С. 267).¹⁸

«Мирская чаша» Пришвина — сказание о погибельности для русского народа и культуры воцарившейся новой власти, образы представителей которой неприятны до отвращения: это озлобленные революционеры-неудачники, бывшие уголовники и дезертиры, самонадеянно взявшиеся управлять огромной державой. Показательны и сами принципы управления государством, которые насаждал большевизм: насилие, воровство и взятка, обман, кумовство. Уже с первых страниц повествования из разговора мужиков, приехавших в «контрибуцию» (как народ называл расположившуюся в бывшей барской усадьбе Комиссию по сбору налогов), становится ясно, что и вновь назначенный комиссар «свойский, такой же процелыга, как мы», да и хотя предыдущего «смели, но он залег в почту, придет время, забудут, объявится. — Отлежится!» (Мирская чаша. С.80).

Простая, сермяжная истина, что большевики потворствуют «своим» негодьям, хорошо была известна мужикам. Потому-то и воспринимают они власть Советов как власть чуждую, которую грех не обмануть, и при сдаче контрибуции «у каждого для весу в кудели по камню, в муке много песку, баран кожа да кости, курица чумная, только бы сдать, а не сдашь и попадешься, тогда разговор краткий.

— А есть?

— Есть! — спешит ответить мужик» (Мирская чаша. С. 77), с полуслова понимая, что комиссар речь ведет о самогоне, называемом в народе «жидким хлебом» и ставшем со времен революции взяткой намного более расхожей, чем деньги.

¹⁷ «Мирская чаша» без десятой главы была напечатана лишь в 1979 году в журнале «Север», а полной публикации повести читатель дождался еще десять лет. Далее ссылки в тексте даются на издание: Пришвин М. М. Мирская чаша. М., 2001 (указываются название и страница).

¹⁸ По иронии судьбы Троцкий сам вскоре стал «контрреволюционером», одно знакомство с которым или упоминание в позитивном контексте неминуемо влекло репрессии. И теперь уже сам Пришвин мог оказаться «врагом народа» только за то, что писал в «Мирской чаше», как советские начальники развешивали в своих отделах и кабинетах портреты революционных вождей и сидели, окруженные новыми «богами»: Ленин, Троцкий и все тут на открытках», и каждый чиновник на них «молится, презирая окружающих» (Мирская чаша. С. 113). Поэтому запрет Троцким публикации повести неожиданно оказался спасительным для писателя и вместо неизбежных репрессий 1930-х годов он отделался лишь нападками рапповской критики за то, что «такие явления, как война и революция, прошли, в сущности, мимо Пришвина, задев его творчество лишь стороной: ему не удалось дать обобщенно-художественно познания их...» (Григорьев М. Бегство в Берендеево царство: О творчестве Пришвина // На литературном посту. 1930. № 8. С. 61).

Художественно ярко и убедительно показывает автор, как идеология классово-борьбы, насаждаемая революционной властью, воспринимается в народном сознании, как сами большевистские комиссары относятся к деревенскому люду будто к завоеванному в битве населению. И обреченно ропщут мужики на власть:

«— Задавила контрибуция!

— Переешь ей глотку!

— И всего ей подай: деньги подай, хлеб подай, лошадь подай, корову подай, свинью подай, и кур описали» (Мирская чаша. С. 80). Охает, охает такой мужик от непосильной дани да и решает: «Пойду, — говорит, — издохнуть в холодный амбар, а свое говорить буду: нет и нет» (Мирская чаша. С. 137). Но если и холодный амбар не помогает выбывать дань из крестьянского люда, то для самых строптивых у власти иная казнь. Говорит комиссару такой мужик-недоимщик: «„Нету!“ — „Иди в прорубь!“ Раз окунули.

— Окрестили!

— Да, окрестили и спрашивают: „Есть?“ — „Нету“. Во имя Отца окунули и во имя Сына окунуть. „Есть?“ — „Нету“. Из третьей Ердани вылезает. „Есть?“ — „Есть“.

— Окрестили человека.

— Крестят Русь на реках Вавилонских.

— На Тигре и Ефрате» (Мирская чаша. С. 140).

Так по-библейски интонационно-образно описывает автор угнетение крестьянского народа властью, которая для непокорных подданных выдумывает все новые и новые «египетские казни». Но не одним лишь внешним вассалом давит пролетарское государство мужика, а и в самую душу народную старается внедрить семена раздора. «— Истинное наказание: Сережка Афанасьев на отца своего Афанасия Куцупого наложил контрибуцию в пять тысяч: „Будь же ты проклят!“ — сказал Куцупый.

— Проклял сына?

— Проклял во веки веков», — передают мужики друг другу весть о близости возмездия Евангелием «последнего времени», когда дети восстанут на отцов (Мирская чаша. С. 138—139). Так идеология классово-борьбы, внедряемая большевиками в деревню, разрушает традиционные патриархально-общинные семейные узы, которыми извечно держалось русское крестьянское бытие: сын пошел войной на отца, а брат на брата.

Таковыми братьями-врагами являются в «Мирской чаше» комиссар Персюк и его брат бандит Фомка — персонажи с нарицательными именами, созданные писателем для выражения типических характеров революционной эпохи, эпохи всеобщей классово-борьбы. О появлении «Фомкина брата», безликого и безымянного революционера, толкует огородник Крыскин, сетуя, что не только в России, во всем мире воцарилось беззаконие, «один только Фомкин брат всем командует (<...>) и говорят, по всему земному шару все национальности погибнут, и у немцев, как у нас, будет Фомкин брат» (Мирская чаша. С. 121). Олицетворяющий в повести большевистскую власть комиссар Персюк, нарочито именуемый автором «Фомкин брат», через это метафизическое родство получает характеризующее его образ типическое историко-культурное содержание. Ведь в народном сознании Фомка — нарицательное имя разбойника и анархиста, отрицающего всякую власть. Еще с незапамятных времен, говорит Пришвин, по необъятным просторам Руси гуляли Фомки — беглые и вольные люди, хотя случалось и так, что «Фомка, молясь Перуну, попадался в сети государства и делался из разбойника завоевателем Сибири» (Кн. 3. С. 50).

Однако не меньшим разбойником и анархистом является в «Мирской чаше» и «самый страшный из всех комиссаров Персюк, Фомкин брат», который вдруг налетел на музей, то ли расследуя донос на крамольные высказывания против Советской власти старухи Павлинихи, то ли в поисках дармовой выпивки. «— А кто тут у нас идет против? (...) Вот он стоит, распаленный властитель, глаза, как у Петра Великого при казни стрельцов». Как всякий психически неуравновешенный тип, Персюк падок на ласковые уговоры, у него, как «у страшных людей, как у лютых собак, переход от бешенства к тишине с ушей начинается, и это мило у них выходит, будто „ку-ку” на березе после грома и молнии. В ушах что-то дрогнуло, и Персюк говорит...» (Мирская чаша. С. 88—89). Видимо, под влиянием миролюбивых слов Алпатов, учителя и хранителя музейных редкостей, зверь в душе комиссара смягчается, и Персюк заводит разговор о теории Дарвина, с радостью ожидая еще раз услышать подтверждение, что «он произошел от обезьяны, что он только животное, только материя, что святая любовь есть только сексуальность и т. д. По-видимому, всякое „только” доставляет глубокое облегчение...»¹⁹

А вот у учителя взгляд совсем иной: ему-то кажется, что революция наша повернула ход истории вспять и уже человек начал превращаться в обезьяну. С недоумением слушает Фомкин брат теорию обратной эволюции, но при согревающих комиссарскую душу словах Алпатов, что стакан спирта — наилегчайший путь от человека к обезьяне, Персюк «вдруг как бы остановился в себе и вспомнил:

— Да, бывало, на море заберешься в канат от офицера, высадишь бутылку враз и ну Маркса читать.

— Маркса?

— И думаешь при этом, как бы достигнуть...

— Чего достигнуть?»

Однако вспомнить Персюку что-либо из научной теории социализма не удалось, поскольку при упоминании святого для каждого революционера имени Маркса душа комиссара вновь с неукротимой силой взалкала: «Стоп! — Запрокинув голову, постучал себя пальцем по горлу. — Есть?

— Только в лампах денатурат.

— Давай лампу.

— Не отравиться бы: медная лампа.

— Давай!» (Мирская чаша. С. 89).

Но поймать мысль не удалось даже после влитого в комиссарскую глотку трехлетнего настоя денатурата из всех четырех медных музейных ламп. Так в образе полубезумного от пьянства комиссара Персюка вскрывается в повести идейная несостоятельность новой власти, ее варварская и зверино-дикая сущность. Восторгающийся Дарвином, «окончательно доказавшим» происхождение человека от обезьяны, комиссар и сам похож на лесную обезьяну,²⁰ ибо только в лесных «сумерках на выжженных лядах из пней и коряг складываются иногда такие рожи» (Мирская чаша. С. 87).

¹⁹ Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. М., 1994. С. 219.

²⁰ В первоначальном названии повести «Раб обезьяний» явно прослеживался акцент на трагичности положения русской интеллигенции, в лице Алпатов попавшей под начало воцарившейся в России власти зверообразных персюков. Однако христианское миропонимание, достаточно очевидно выраженное в повествовании, по-видимому, приводит автора в конечном счете к историософскому взгляду на революцию как катастрофический, но лишь момент бытия русского народа, который следует принять как горькую чашу искупления за общие вольные или невольные заблуждения и грехи. Ибо как бы ни была виновата интеллигенция в происшедшем, «распята ныне и барин, и мужик на одном кресте, барин — за идеи, мужик — за разбой» (Кн. 2. С. 344).

Однако диалектичность художественно-философского мышления Пришвина и объективность свидетеля эпохи, патриота своего отечества требуют отдать должное, может быть, единственному достоинству большевизма: «Персюк в своих пьяных руках удержал нашу Русь от распада» (Кн. 3. С. 265). Он «хоть и зверь, да стоит за советскую власть, за государство», — защищает Алпатов Персюка перед братом его Фомкой (Мирская чаша. С. 129).

Персюк и Фомка — это плюс и минус, две неразрывные стороны одного явления, имя которому беззаконие, которое оба они, каждый по-своему, вершат. Именно беззаконие, считает Пришвин, уравнивает большевизм и бандитизм, делая их соучастниками революционного анархизма. При этом в отличие от классического анархизма, ставящего своей целью освобождение личности от давления всяких авторитетов и любых форм экономической, политической и духовной власти, характерной чертой той анархии, которая воцарилась в советской России, была ставка именно на насилие, претензия каждого на роль диктатора. «Для нас загадочны Октябрьские дни, и мы им не судьи пока, но завеса в настоящем упала: коммунизм — это название государственного быта воров и разбойников», — заключает писатель (Кн. 3. С. 108).

Грозный комиссар Персюк и брат его бандит Фомка своей историей напоминают библейское сказание о Каине и Авеле. Правда, братоубийство происходит в перестрелке, и лишь случайно Персюк убьет Фомку первым. Но не случайно обращение писателя к текстам Священного Писания — это позволяет соотнести современные события с незыблемыми нравственными ценностями общечеловеческой культуры, провидчески увидеть и показать за суетным вечные основы исторического бытия. Философский смысл истории братьев Персюка и Фомки шире использованного в повести библейского сюжета. Смысл в том, что, по Пришвину, марксистская идеология классовой борьбы не ведет общество по пути прогресса, а в братоубийственной гражданской войне нет правых и виноватых.

* * *

Осуществляя на деле плехановскую теорию классового подхода к культуре, власть широко проводила политику государственной регуляции творчества, поощряя критику оценивать искусство с позиций «трудового происхождения» художника. Просто «удивительно, как не додумались до трудовой регуляции любви», — с сарказмом говорил по этому поводу Пришвин (Кн. 4. С. 82). Широкое распространение получила вульгарно-социологическая концепция, по которой писатели делились на враждебные классовые группы. В частности, Пришвина относили в лучшем случае к попутчикам,²¹ в худшем — к представителям «мелкобуржуазной литературы (...), отражающей настроения не переставшей мечтать о своей надклассовости интеллигенции, воспитанной дореволюционной эпохой».²²

Конечно же, Пришвин ясно понимал, что причиной идеологизации искусства была отнюдь не одна плехановская вульгаризация марксизма, не только догматизм советских вождей и теоретиков-эпигонов, не недостаток культуры современных критиков. Главной причиной был тоталитарный политический режим, который укреплялся за счет жесточайшего террора, оп-

²¹ *Замошкин Н. И.* Творчество Мих. Пришвина. К вопросу о генезисе попутничества // Печать и революция. 1925. № 8. С. 126.

²² *Горбачев Г.* Современная русская литература. Л., 1929. С. 131.

равдываемого тезисом Сталина о якобы закономерном обострении внутренней классовой борьбы даже после ликвидации эксплуататорских классов в стране по мере ее продвижения к социализму. «„Классовую борьбу” теперь, при подавлении враждебных классов, надо понимать как борьбу за государство», которую ведут с народом и одновременно между собой большевистские вожди, заключал Пришвин.²³ Действительной же задачей советской власти, считал он, должно быть не построение бесклассового общества, а народное просвещение, поскольку «образование более разделяет людей, чем классы экономические. Внеклассовое общество — это значит господство образованных людей» (Кн. 6. С. 26—27).

Ощущая все более усиливающуюся идеологическое давление государства на творчество и понимая, что в борьбе с мировоззрением чуждой ему власти невозможно открыто выразить политический протест, писатель, чтобы остаться самим собой в русской литературе, избрал иной путь. «Только если в себе самом выстроишь дом и посмотришь на людей из окошечка этого никому не видимого и незavidного жилья, можно любить их и так сохранять себя самого от расхищения злобой» — так в духе подвижнического служения людям определял он свое жизненное кредо (Кн. 3. С. 183). Однако остаться вне поля зрения воинствующей критики было невозможно ни детскому писателю, ни художнику-анималисту, ни пишущему на отвлеченные от злобы дня исторические темы. РАПП, присвоившая себе право быть политическим цензором над советским искусством, устами своего Генерального секретаря провозглашала: «Наша критика должна быть ортодоксально марксистской», мы «против затушевываний и замирений — за четкую идеологическую линию».²⁴

В этой атмосфере повсеместного поиска классовых врагов весьма чреватым роковыми последствиями стал один эпизод из жизни Пришвина, который лишь с позиций сегодняшнего дня кажется анекдотически-курьезным. В 1930 году писатель в духе того времени решил стать «ударником» в литературе, чтобы, заключив договор с издательством «Молодая гвардия», получать зарплату, а произведения отдавать издательству безвозмездно. И вот на одном из заседаний редакционного совета слушали отчет Пришвина, который, надеясь очаровать «этих приятных молодых людей», рассказал о проделанной работе и как обычно мастерски, с вдохновением прочитал только что законченный рассказ «Полярный роман», предназначенный для обсуждения. После продолжительной паузы первый же выступающий, Осип Брик, сказав несколько дежурных хвалебных слов, вдруг напрямую обвинил автора в антисоветчине: «Вот, к примеру, вы пишете о вороне, а у вас не чувствуется, что это наша, советская ворона.

— Как, как? — вскричал Михаил Михайлович. — Советская ворона?

— Да, да! — продолжал настаивать Брик. — Именно не чувствуется. Конечно, сердцу не прикажешь... Вот так... Вот и все, что я хотел сказать...» По воспоминаниям присутствовавшего на этом «обсуждении» племянника писателя, «это была продуманная во всех деталях, тщательно взвешенная травля (...), ораторы все долбили и долбили его».²⁵ Позже Пришвин отмечал, что, несмотря на заступничество Горького, эта травля продолжалась и за-

²³ Пришвин М. Дневник. 1931—1932 годы // Октябрь. 1990. № 1. С. 161.

²⁴ Авербах Л. Опять о Воронском // На литературном посту. 1926. № 1. С. 15, 20.

²⁵ Пришвин А. Вечные строки: Воспоминания о встречах с М. М. Пришвиным. Хабаровск, 1965. С. 60—61. Данный эпизод автор воспоминаний ошибочно относит к осени 1929 года, однако так называемый «призыв ударников в литературу» был провозглашен РАПП только в 1930 году.

кончилась для него благополучно лишь благодаря роспуску РАПП в 1932 году.²⁶

По убеждению Пришвина, при классовом подходе к творчеству искусство переставало быть специфическим способом постижения жизни со всеми ее противоречиями и превращалось в иллюстрацию идеологического материала по заданным схемам. «Был у меня со стихами своими комсомолец, рабочий с прядильной фабрики Гришин. В каждом стихотворении его встречается неоправданно слово „комсомол“, — отмечает писатель в дневнике в конце 1927 года. — Я спросил его, зачем он повторяет слово и не пытается изображать. „Так уже полагается, — ответил он, — без этого не напечатается“» (Кн. 5. С. 525).

Примечательно, что Пришвин ясно видит те моменты, когда ленинская и плехановская версии Марксизма соединяются в культурной политике большевизма, который, принуждая искусство служить своей идеологии, оправдывает государственное насилие над личностью художника ссылками не только на Маркса, но и на русских революционеров. Прочитав в сентябре 1946 года речь Жданова о Зощенко, Пришвин приходит к выводу, что в большевизме скрыта какая-то просто средневековая ненависть к свободному искусству. Даже имена «Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Плеханова ставятся в оправдание насилия над личностью художника. То, о чем догадывались, теперь названо. Как мужики громили усадьбы помещиков, так теперь правительство выпустило своих мужиков от литературы на писателей с лозунгами из Ленина о том, что литература и все искусство являются частью дела партии (т.е. искусство есть агитация и пропаганда марксизма)».²⁷

В наиболее концептуальной форме плехановская парадигма «классового подхода к искусству» нашла выражение в идее «социального заказа» теоретиков РАПП. «Психику и идеологию авангарда рабочего класса в искусстве выражает реализм», — заявлял В. Ермилов. Но поскольку идеологией пролетариата является философия марксизма, то метод пролетарской литературы — это «метод диалектического материализма (<...> это — единственный путь к гегемонии пролетарской литературы».²⁸ Данную позицию поддержал А. Фадеев: «Овладеть передовым мировоззрением пролетариата, мировоззрением диалектического материализма, и претворение его в художественный метод» — вот главная задача пролетарского писателя.²⁹ отождествление творческого метода с мировоззрением писателя, которое неразрывно связывалось с его классовой принадлежностью, позволяло рапповцам под видом борьбы за плехановский принцип «классовой линии в литературе» осуществлять травлю всех не согласных с курсом РАПП на идейно-эстетическую монополию. И прямым развитием мысли Плеханова о том, что искусство и литература, как всякая идеология, выражают стремления и настроения общественного класса,³⁰ стал вульгарно-социологический вывод, что «художественное творчество является лишь особой формой идеологии»,³¹ что у всякого художника «недостатки стиля есть недостатки мировоззрения».³² Точка зрения, что произведение искусства есть воплощенная идео-

²⁶ Пришвин М. М. Дневники. 1905—1954 // Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 260.

²⁷ Пришвин М. Леса к «Осударевой дороге». С. 74.

²⁸ Ермилов В. О творческом лице пролетарской литературы // Творческие пути пролетарской литературы. Второй сборник статей. М.; Л., 1929. С. 170, 189.

²⁹ Фадеев А. Заметки об отставании // На литературном посту. 1931. № 2. С. 2.

³⁰ Плеханов Г. В. Предисловие к третьему изданию сборника «За двадцать лет». С. 207.

³¹ Канатчиков С. И. В борьбе за пролетарскую идеологию. М., 1931. С. 73.

³² Селивановский А. Попутничество и союзничество. М.; Л., 1932. С. 75.

логия, прямо вытекала из знаменитой формулы Плеханова, что только «правильная» идея может породить адекватную форму и великое произведение.³³

Сведение искусства к классовой психоидеологии превращало творчество в работу по жесткой рецептуре. Искусство в таком понимании переставало быть специфически образным средством постижения жизни со всеми ее противоречиями и превращалось в один из способов выполнения «социального заказа», в иллюстрацию идейно-политического материала по заданным логическим схемам. Введение понятия «социальный заказ» в практику отношения государственной власти к творчеству, пишет Пришвин, возвращало общество «к эпохе упадка народнической литературы, к диктатуре гражданской морали» (Кн. 5. С. 530). Это был безусловный тормоз развития литературы, которой революционный процесс начала века дал мощный стимул к освобождению от идеологического диктата: «После первого взрыва 1905 года только отдельные люди из старой интеллигенции оставались в народе на культурной работе. Некрасовский дух, народнический идеализм исчезал, оставались техники-специалисты. Литература вошла в свое собственное русло, и „гражданственность“ из нее была изгнана: это представлялось освободительным процессом литературы, сопровождавшимся расцветом талантов Блока, Брюсова, Белого, Сологуба, Розанова...» (Кн. 5. С. 150). Но если в народнической беллетристике, по мнению Пришвина, «искусство и гражданственность смешивались механически», являясь следствием дурно художественного вкуса (Кн. 5. С. 528), то государственная идеология советской эпохи в 1920-е годы взяла курс на насаждение марксистского мировоззрения в искусстве диктаторскими методами. Примером стал откровенный волюнтаризм отношения власти к художникам. «Что Сталин все может, — пишет Пришвин в дневнике 1929 года, — видно на примере Всеволода Иванова, которого уже начинали сильно травить. Он поставил плохонькую пьесу, но Сталину понравилось, и во всех газетах протрубили, что пьеса превосходная. Такое жалкое положение: литература припадает к стопам диктатора» (Кн. 6. С. 379).

Таким образом, Пришвин считает неприемлемым любое идеологическое вмешательство в творчество художника, как нынешнее со стороны коммунистической власти, так и народническое, некогда противостоявшее царской власти. Избавление культуры от непреложной классовости, к которой призывали идеологи марксизма от Плеханова до Сталина и К°, должно стать важнейшим завоеванием общества, а идейное освобождение художника Пришвин считал равноценным «отделению церкви от государства» (Кн. 5. С. 528). Конечно, это вовсе не означает безразличия к делам общества. Настоящий художник, по мнению Пришвина, всегда связан с жизнью народа и воспринимает запросы общества как свое «родственное поручение». Развивая эту мысль, писатель говорил о себе: «хотя я никогда не был народником, но воспитывался среди них, и этика моя народническая» (Кн. 6. С. 123). Поэтому свое самоутверждение и спасение как писателя Пришвин видит в служении всем людям, а не какому-либо классу: «После революции я во время ненависти, злобы и лжи решил против этого выступить не с обличением, а с очень скромным рассказом о хороших людях — так возникла „Кашеева цепь“ и начался победный ход моего писательства. Как бы все принимаю, пусть господствует зло, но утверждаю неприкосновенную силу добра как силу творческого труда и прежде всего: „хлеб наш насущный“...» (Кн. 5. С. 497).

³³ Плеханов Г. В. Искусство и общественная жизнь // Плеханов Г. В. Эстетика и социология искусства: В 2 т. Т. 1. С. 346.